

Песнь, иль гимн?!

Разрешится это по возвращению на Кубань... А пока — прошлое кануло, настоящего нет и... живи без „бога“ в застрадавшей душе...

Песнь, иль гимн?!

Кубань — в мареве, Верховного хозяина ее — Рады — нет. Но, можно ли так оставаться?

Единственный ответ: нет! Мы могущие свободно здесь выражать свою мысль и волю, мы — активные участники борьбы за свое казачье существование, мы имеем право, мы должны, мы продолжаем нести свой священный освободительный светильник с драгоценным казачьим пламенем до своей казачьей отчины, — мы в нужных случаях должны говорить свое слово.

Песнь, иль гимн?!

Учур Алексеев.

## Под властью красных.

*Личные переживания.*

Минуло одиннадцать лет с того времени, как наша донская конница в заснеженных заманычских степях, мужественно преодолевая величайшие трудности — голод и холод, то отступая, то наступая неоднократно разбивая многочисленных красных противников, — горделиво сражалась с красными „за свой порог и угол“, „за казачьи вольности, за честь казачью, неподкупную“.

В эти кошмарные дни, находясь в рядах своего родного Зюнгарского 80-го полка в качестве командира 4-го взвода 6 сотни, командиром которой был есаул Чеботарев (позже — сотник Д. Ремилев), в одну далеко прекрасную ночь я попал в руки своих смертельных врагов — большевиков, а затем пережил тяжелые, страшные (вместе с тем и радостные) дни своей жизни: попал в руки жестоких большевиков и служил у них — несчастью; побывал „там“, в родных станицах, вдыхал воздух родной степи, видел милую и дорогую картину жизни, встречался с своими братьями — счастьем.

Теперь, живя здесь, в изгнании, испытывая тяжелые моральные и материальные бедствия, но в сердце своем сохраняя неугасимую любовь к своей Родине, так тяжело страдающей в окровавленных руках московских красных палачей, — я нахожусь утешение и опору в том, что я — один из последних калмыков, дышавший родным воздухом, наслаждавшийся картиной бесконечно дорогой нам жизни, видевший тяжкие страдания своего народа на своей земле под властью пришельцев.

Ныне друзья и приятели мои настаивают, чтобы я рассказал, как могу, о своих злключениях у большевиков, о тех мучениях и страданиях, пережитых лично мною, а также и моими друзьями по несчастью. Уступая этому настоянию, я думаю рассказать здесь о своих злключениях в большевицком плену. Рассказывая о них так, как они сохранились в моей памяти, никоим образом я не желаю впадать в область излишних восхвалений или обвинений, памятуя, что „Бог правду любит“. К моему глубокому сожалению, в бытность мою у красных, я никак не мог вести никакой записи: делать это мне, „белому арестанту“, было невозможно.

В 1920 году попав в плен к большевикам, в том же году мне с несколькими друзьями удалось бежать от красных, попасть в Крым в „стан белых“, пережить крымскую катастрофу, „константинопольскую эпопею“... И вот уже 11 лет скитаюсь по чужбине. Одиннадцать лет — не малый срок. Естественно, многое из того, что пришлось видеть и переживать, изгладилось из памяти, а потому и рассказ мой будет далеко не полным, отрывочным.

В первых числах февраля 1920 года, после продолжительных и известных всем нам боевых столкновений с красными в районах с. Проциковое и Веселое, после многих удачных и героических контр-атак, наш 80-й Зюнгарский калмыцкий полк, под командой полковника Г. Э. Тешкина, получив распоряжение двинуться на Тор-

Этот вопрос должен разбудить у каждого из нас его гордость и заставить заклокотать ее...

Пусть сами казаки выскажутся что это:

Песнь, иль гимн?!

В борьбе, в острые моменты жизни, когда решается вопрос: быть или не быть, — его следует ставить резко, определенно. Конечная цель должна быть указана точно и ясно.

И наше мнение, выношенное в долгах наших думах и горестях и обильно политое казачьей кровью благородной да горючими вдовыми и сиротскими слезынками бесчисленных десятков тысяч наших родных и неглядящих казачек-страдалиц, что это — Гимн н... Гимн наш Кубанский и уже исторический. Гимн, наш прививный Стяг к освободительной борьбе и единственный символ настоящего Единства всего Кубанского Казачества.

говую, в страшную и памятную для всех зимнюю стужу на Маньче — направился на Торговую, встречая на пути массу преград. Цель похода — разбить Буденного, по неспособности старика Павлова не была достигнута.

5 февраля, переночевав кое-как в скирдах заманычских коннозаводчиков, где нам пришлось всю ночь „танцевать“, есть мерзлое мясо, чтобы преодолеть 20-ти градусных мороз и страшный голод, утром, 6-го, полк наш направился, как говорили, по направлению к сл. Лопанке, где предполагался отдых после продолжительных и утомительных походов по снежной заманычской степи, во-первых, а во-вторых — встретить там наступавший тогда наш национальный праздник „Цаган“. Цель этого „похода“ радовала весь полк, ибо судила заслуженный отдых и радостную встречу с своими отцами, матерями, женами, сестрами и братьями, так как по сведениям, доходившим до нас, в Лопанке стояли наши беженцы.

Линия фронта — Торговая-Воронцовка — осталась позади, мы шли в „глубокий тыл“ на отдых, что не могло не доставить радости казакам, дошедшим до последней степени измождения.

Часов в 7<sup>1/2</sup> вечера того же дня полк прибыл на полустанцию „Цилина“, где предполагалось сделать маленький привал. Но к нашему великому огорчению, на этом полустанке, где имелось маленькое вокзальное здание и три-четыре дома для железно-дорожных служащих, не было никакой возможности устроить отдых для всего полка, в силу чего полк, без отдыха, двинулся дальше — на Лопанку... Проехав 7-8 верст, мы снова наткнулись на какие-то здания и сарай, мимо которых лежала наша дорога. Это была экономия коннозаводчика Чернова. И на этот раз полк не остановился, ибо командир полка, полк. Тепкин, передал по колонне приказание: „не отставать от полка, Лопанка не далеко, всего 5—6 верст“. Но не взирая на такое „ангельское“ приказание командира полка, о неисполнении которого сожалелю я до сего времени, отставших нас было много, ибо искушение войти в какую нибудь хатенку, отогреть свои оконевшие конечности — было велико. Я лично, хотя и находился взводным, но не спешил за полком, так как взвод был поручен моему помощнику — приказному еще с японской войны — Онда Ульдынову, а засиделся с товарищами, покурявая папиросу за папиросой, в теплой и уютной квартире заведывающего Черновским добром.

Таким образом немного отогревшись, я с своими казаками, Г. Балыковым (Батлаевской станицы), Б. Ивановым (Платовской ст.) и четвертым из другой, неизвестной мне сотни, но помню хорошо — Денисовской ст., выехал из экономии. По пути к нам присоединились еще четыре конных, в числе коих я узнал своего сотенного вахмистра — подпор. Шогул Джамбинова, двух дозцов, служивших у нас в штабе полка ординарцами,

фамилии коих, к сожалению, не помню, и одвого калмыка, старика лет под 60, Платовской станицы. Нас собралось восемь человек. Ночь была темная, хотя и снежная, с сильным северо-восточным ветром. Оказалось потом, что стеновая мятель некоторым из нас напедала свою последнюю песню...

Проехав минут двадцать от экономии, наш вахмистр Джамбинов вдруг остановился и, кое-как приспособившись на коне, зажег спичку, чтобы посмотреть на часы. Стрелки показывали — без 20-ти минут 12 часов. А свежий след по снегу нашего полка так был ясен, что мы были в полной уверенности, что вот-вот нагоним свой полк. Но беда, окончившаяся несчастьем для всех нас, явилась со стороны старика-калмыка, который настаивал следовать за ним напрямик, без дороги, что — говорил он — очень ускорит наш приезд в Лопанку, так как, по словам его, он за долгие годы не мало проездил вдоль и поперек всю заманыческую степь.

Не подозревая о заходе красных нам в тыл, мечтая скорее попасть в полк, мы согласились с нашим проводником и двинули на прямую. Ехали рысью. Нам показалось, что мы едем что-то долго, но, наконец, после долгой и неправильной дороги, впереди показались первые огоньки, дальше и лай собачий.

— Ну, слава тебе, Господи, приехали! — оживленно-радостно заговорили все.

Вахмистр наш снова, при помощи спичек, посмотрел на часы и сказал: „уже час ночи“.

При въезде в Лопанку (с запада, как теперь представляю) ни одна душа нас не заметила и мы спокойно раз'ехались по дворам, разыскивая каждый свою согню, так как все мы были уверены, что полк наш уже разместился здесь. Я с подхорунжим Джамбиновым и моим станичником Г. Балыковым остановился у одного двухэтажного дома, в котором ярко светился огонек, решая вопрос — как и где найти свою шестую согню.

— Давайте в этом доме спросим — где и что? — сказал Г. Балыков, и мы трое заехали во двор. Слезли с коней, которых привязали под навесом с какими то другими лошадьми, в полной уверенности, что они нашего полка. Ни на минуту не предполагая, что мы уже в руках спящих большевиков, подошли к дверям нижнего этажа дома и стали стучать, приказывая скорее открыть нам дверь. Кто-то откликнулся, спрашивая: „кто там, какой части?“

— Свои, Зюнгарцы, 80-го калмыцкого полка, — отвечаем. После нашего ответа голос замолчал и не прошло пяти минут, как вдруг 5—6 вооруженных до зубов солдат, с ручными гранатами, оцепили нас и закричали: „сдавайся, руки вверх!“

Нас охватил ужас, мы прямо обалдели. Мы были настолько уверены, что приехали к своим, что вахмистр наш и теперь не хотел верить и крикнул: „что вы делаете, станичники, ведь мы — не красные, а Зюнгарцы! Наш полк здесь!“ Но какой то красный храбрец тут же, в упор пустив пулю из нагана, раздробил череп вахмистра Ш. Джамбинова. Он упал среди озверевших красных, двое из коих сейчас же бросились шарить в карманах убитого и при этом, как я потом узнал, эти два мародера чуть не подрались из за раздела „военной добычи“, извлеченной из карманов убитой им жертвы. У вахмистра, как я знал, были: серебряные часы, два золотых кольца, несколько штук старинных золотых монет и новый самовзвод-наган.

Меня и Г. Балыкова, оглушив ударами прикладов наших же винтовок, красные повели туда, где спали. При входе туда большевики заорали на нас: „скидай шинель, раздевайся, белогардейская сволочь!“

Смерть подошла вплотную, сопротивление бесполезно, надежд на спасение нет... Мы скинули свои шинели, а у меня под шинелью, как знал весь наш полк, был английский френч (офицерского покроя) с погонями с анжиками вольноопределяющегося 1-го разряда, старшего урядника-разведчика и георгиевский крест 4-й степени на груди.

— Вот тебе на!... Молодой офицерик! (Мне было тогда 20 лет), — посыпалось со стороны красноармейцев.

— Сколько смертей наших товарищей стоила твои подвиги, за которые ты получил эти свои побрякушки? Сколько наших товарищей ты убил, признавайся!

— Ни одного, товарищи, я молод, нигде не принимал участия в боях... Я ученик, все время учился... Справьтесь у своих... Мой родной дядя служит у вас, некто О. И. Городовиков, — стал отвечать я, надеясь защититься в эту страшную минуту именем этого калмыка, который мне родственником не доводился, но который с самого начала служил у большевиков, и теперь состоял у них начальником конной дивизии.

— Врешь! Говори правду... — начал было один из красноармейцев, но ему не дали докончить: стоявший рядом с ним красноармеец ударом револьвера со всего размаха в лоб свалил меня с ног и я, теряя сознание, обливаясь кровью, упал...

Долго ли лежал так без сознания — не помню. Когда сознание вернулось я услышал над собой: „Эй, товарищ, вставай! Не бойся! Расскажи мне обо всем правду и подробно“. Преодолевая мучительную боль в голове, напрягая все свои усилия я приподнялся. Вокруг меня образовалась большая лужа крови, надо мною стоит человек высокого роста, которого раньше в комнате я не заметил. Оказалось, как мне тут же поспешили сообщить, что моего товарища по несчастью, Г. Балыкова, за то время, что я лежал без сознания, успели вывести во двор и „пустить в расход“.

— „Ну, говори, товарищ, где и откуда заходит ваш полк? Я — комбриг... смерти не будет, не бойся“, — заговорил человек высокого роста.

Мне показалось его обращение более человеческим, голос, слова — более вежливыми. Я решил рассказать ему, что знал, но так, чтобы не повредить своим... А в душе все же думаю: „кляняться тебе не буду, милости просить не стану — двум смертям не бывать, одной — не миновать!“

— А сколько тебе лет? — спросил красный комбриг.

— Восемнадцать — отвечаю.

— Так ты совсем молод! Имеешь ли кого либо из родных?

— Да, имею только мать, она сейчас дома, а отец убит во время германской войны, больше никого у меня нет — ответил я, хотя отец и мать были живы и не дома находились, а ушли с „белыми“. Обращение „комбрига“, как мне показалось, стало еще более человеческим, в душе стала пробуждаться надежда на спасение. Чтобы еще более расположить к себе „комбрига“, я пустился на „хитрость“.

— Не знаете ли вы о судьбе моего дяди, родного брата моей матери, ушедшего с самого начала в красную армию? — спросил я его.

— А кто это такой? Как его имя и фамилия?

— Ок Иванович Городовиков, — отвечаю.<sup>1)</sup>

— Как же! Знаю, знаю. Он наш хороший товарищ, красный герой — командует 4-й кавалерийской дивизией... Вы — его племянник?

И обращение „ты“ быстро и неожиданно для меня заменилось вежливым „Вы“. Интересная перемена! При нашей „дружеской беседе“ никого не было, только вдвоем мы находились в комнате. Всячески меня утешая, посоветовав раздеться, чтобы вымыть рану, кровь с лица, „комбриг“, оставив меня одного, куда то быстро выбежал. Скоро он вернулся и привел с собою фельдшера-красноармейца, который быстро перемыл мою рану и перевязал мою, от удара большевизского револьвера, опухшую, как тыква, голову, что мне принесло большое облегчение.

Утром, 7-го февраля, я узнал, что мой вчерашний „спаситель“ был, действительно, командиром 3-й бригады 6-й кав. дивизии 1-й Конной армии Кавказского фронта, именовавшимся тов. Максимовым (Москвич) — бывший штабс-капитан старого времени. Он был высокого роста, с правильными чертами типичного русского лица. Обращался он со мной предупредительно, ухаживал за мною, несмотря на то, что я ему вчера был смертельным врагом. Немедленно распорядился о выдаче мне

<sup>1)</sup> Большевики называют его „Ок“, а калмыцкое его имя Аку.

обмундирования, как то: новую английскую шинель, френч, совсем новые сапоги, нательное белье, шапку и т. д. Словом, одели меня с ног до головы. Такое обращение все больше укрепляло мою надежду, что я спасен; от этого сознания мне становилось радостно, хотя я никогда не думал сдаваться красным, будучи с малых лет добровольцем „белого движения“. Но тогда я искренно молился Богу, что остался жив...

7-го февраля был наш калмыцкий национальный праздник „Цаган“. В этот день в час дня я вышел посмотреть на свет Божий и заглянул, первым делом, в тот сарай, где мы ночью оставили своих лошадей, на которых только вчера еще служили в рядах родных нам зюнгарцев! Но лошадей там не оказалось... Прошелся дальше по двору, вышел на улицу, посмотрел в сторону церкви. На ее площади увидел толпящихся вооруженных до зубов красноармейцев среди наших калмыцких беженских подвод, путь дальнейшего отступления которых был перерезан неожиданным ночным налетом большевиков. Броситься сразу туда и посмотреть, что там делается, я не мог. И меня там могли принять за беженца и озверевшие красные солдаты быстро могли разделать со мною. Надо было иметь какойнибудь „письменный вид“. Вернулся в дом, пошел к своему „спасителю“ и попросил разрешения выйти на церковную площадь. Он разрешил пойти, добавив, чтобы я ничего не боялся.

Пошел. Пришел на площадь. Стоят без коней и быков много много подвод, везде и всюду пораскиданы калмыцкие сундуки, всякая одежда, домашняя утварь, а между подводами, то в одиночку, то целыми группами лежат раздетые трупы убитых мужчин, женщин и детей... Молодые женщины со следами гнусного насилия... А красные солдаты и местные жители еще усиленно „работают“: разбивают уцелевшие сундуки, растаскивают еще уцелевшее калмыцкое добро.

Под раз'езжающими по площади красноармейцами я увидел вчерашних наших коней; но моей серой кобылицы не было среди них. Мысленно задаю себе вопрос: „где же вы, черти красные, подевали настоящих владельцев ваших четвероногих пленных? Не отправлены ли они по следам Джамбинова и Балыкова“, ибо я ничего не мог узнать о судьбе остальных моих товарищей по несчастью, ночью отбившихся от нас.

Иду обратно. Встречается один старик, местный житель, несший на плечах ручную швейную машину. Спрашиваю о калмыках, что стало с ними. Старик, указывая на землянку по правой стороне улицы, говорит: „иди в эту хату, там ваших много, может из твоих кто там есть“. Побежал туда. Вхожу в землянку, где красноармейцы, пригнав наших беженцев-калмыков, делали свое дело по практическому осуществлению „социализма“: шарили по карманам, требовали и отбирали кошельки, кольца, браслеты и прочее, а над молодыми женщинами и девицами, тут же на глазах у всех совершали свое „красное“ и гнусное насилие.

При моем появлении красноармейцы набросились на меня: „а ты откуда? Раздевайся, давай свой кошелек!“

— Что вам, товарищи, нужно? Хотите от меня получить деньги? Тогда идите получать их в штаб 3-й бригады! Отдайте обратно все взятое у этих невинных беженцев! — резко обратился я к ним, решив в душе, что мне один ответ, одна смерть, но чтобы на моих глазах дьяволы красные не издевались над ними, моими братьями, сестрами. Мое указание на штаб бригады и мой решительный тон подействовали на красноармейцев и они уже совсем смиренно спросили: „какой части?“

— Из штаба бригады! Вон отсюда! — строго и решительно крикнул я на них.

Солдаты, оставив свое гнусное дело, быстро ушли прочь. Среди беженцев из моих станичников никого не было. Были в большинстве платовцы, граббевцы, бурульцы и др. Из Бурульской станицы был старик Кузьма Абушкин с семьей, из Платовской станицы была знакомая мне женщина, Бичкендэ Тапкинова, а остальных не помню. Обращаясь к своим на своем родном языке, объяснил им, что я только вчера попал в плен. Рассказал им все с начала до конца. Они уди-

влялись — как я мог остаться жив. Говорили, что я спасся именем Городовикова. Тут же выражали свое опасение: „а что, если сам Городовиков не согласится с этим?“

— Для меня все равно! Пусть расстреляют, убьют, — отвечал я им. Спрашивал, что с ними делали красные? Они не находили слов для объяснения того, что с ними было. Одна женщина говорила, что у нее расстреляли мужа и невестку; другая говорила и плакала что у нее убили сына и двух дочерей от 14 до 18 лет. То, что они рассказывали, было сплошным ужасом и трудно было поверить, что такие вещи могут творить люди! Эти „дела“ никак нельзя было совместить с человеческим образом!

В четыре часа в тот же день мы покинули Лопанку, направляясь в следующую слободу, Лежанку, и я с ужасом видел трупы калмыков: расстрелянных большевиками, как по улицам Лопанки, так и по дороге в Лежанку. Всюду кровь, кровь и кровь! Свеже выпавший чистый белый снег и свежепролитая красная человеческая кровь!

Вечером 8-го февраля приехали в Песчанокоскую, где, переночевав, на другое утро спешно „драпали“ обратно в Лежанку и Лопанку, ибо Песчанокоская была занята тыловым набегом казаков. Но так как я оставался в штабе бригады, о результатах этих боев здесь не знаю. Только помню, как „комбриг“ тов. Максимов, по возвращении из боев, хвастался и рассказывал: „столько то убили, столько то взяли в плен“. Слушая рассказ о победах красных, сердце мое обливалось кровью, я искренно презирал „краскома“, но в душе утешал самого себя: „врешь! Не хвались, вперед Богу помолись!“

Утром 11-го февраля мы выехали из Лежанки и снова приехали в Песчанокоскую, где в этот же день, по прибытии двух красных дивизий (4 и 6-я кав.), я был отправлен к начальнику 4-й кав. див. — к „своему дяде“ Городовикову. Сопровождал меня до места вооруженный красноармеец, который, оставив меня во дворе, доложил о моем пленении и сохранении, как племянника своего уважаемого начдива. В ожидании своей участи дрожу от страха.

Вдруг солдат приглашает меня войти. Войдя в помещение и вижу: сидит один калмык с худощавым лицом, с черными усами, без двух зубов в нижней передней челюсти, которого раньше я в жизни не видел и не знал, с двумя типами, видимо, тоже из начальников и, расставив карту, что-то серьезно обсуждают, очевидно план предстоящих военных действий. Оказалось, что это и был „сам“ Городовиков.

При входе я невольно чуть заметно поклонился. Городовиков пристально посмотрел на меня и на калмычком языке сказал: „мендэ кемон“ — „здоровый молодой человек“. Какой ты станицы? Чей ты есть?

То, что Городовиков со мною сразу заговорил на калмычком языке, меня сильно ободрило и я поспешно стал отвечать ему на том же своем языке:

— Батлаевской станицы, Алексеев, сын Давы Амулановича...

— Ну, садься и расскажи; отец и мать живы ли и где они? и тут же объяснил своим товарищам, что мой родитель был его хорошим другом и выразил сожаление, что отец мой убит под Воронежом еще в 1919 году, о чем я уже успел дать ответ на его вышеприведенные вопросы.

Городовиков спрашивал много и очень интересовался существованием, работой столь энергично и настойчиво, по его словам, действовавшего в схватках с его дивизией, нашего Зюнгарского полка. Со злобою и ненавистью говорил о калмыцких офицерах, которых он, Городовиков, знал лично. На все его вопросы я до некоторой степени отвечал машинально, часто говорил „не знаю“, так как объясняться с ним на своем родном языке было мне легко. Тут же я был свидетелем того „смертного приговора“, какой „вынес“ Городовиков над всеми калмыцкими офицерами, участвовавшими в „белом движении“. Он, обращаясь к своим двум товарищам, сидевшим с ним, матерясь в Бога и во все, как это принято у большевиков вообще, злобно сверкая глазами, скрежеща зубами, с лихорадочным вол-

нением говорил им, что если в их руки попадутся из калмыков офицеры: Б. Шарманжинов, А. Сарсинов, С. Пантусов, Д. Урусов, Сельнинов, Б. Нимбирков и др., то не трогать и не убивать, а препровождать в его распоряжение и здесь то он, Городовиков, сам будет „разделяться“ с ними. С дикой ненавистью он рассказывал своим друзьям о том, как первый из упомянутых выше лиц, командуя дивизионом в 1919 году на Воронежском фронте в одной из атак, разбив его полк (тогда Городовиков командовал красным полком), чуть чуть не поймал его самого и он отлично видел, как за ним гнался с диким ревом есаул Шарманжинов.

После продолжительных распросов, Городовиков назначил меня писарем в свой штаб. Смерть прошла мимо, но совесть терзала, душа тянула в свою родную станицу — хоть мелком посмотреть в истерзанные и протоптанные красной конницей наши родные станицы и хутора. Но, ничего не поделаешь!

Простояв в Песчанокопской до 13 февраля, штаб дивизии, где я уже „писарил“, двинулся на ст. Тихорецкую. Во время этого перехода, воле ст. Кушевской, я был очевидцем большевистских зверств над калмыцкими беженцами: мужчин, женщин и детей прямо расстреливали на месте, а молодых женщин и девиц брали с собою в седло, увозили в соседнюю будку железнодорожного сторожа, где изнасиловав, надругавшись целыми группами, „по-вазодно“, хладнокровно и беспощадно убивали на месте. Среди расстрелянных здесь я узнал С. Трушкина, моего станичника, у которого были выпущены внутренности, разбрызган мозг. Как

сегодня помню один случай: когда мы ехали из Кушевской по направлению к Тихорецкой, встретилась по дороге одна интересная, молодая девушка лет 16-17 с измученным лицом, еле двигающаяся, у которой, очевидно, физическую боль от солдатских надругательств заглушал стыд и позор за „содеянное“ над нею... По близости совершенно никого не было. Очевидно, она не знала — куда идти. На мой вопрос — какой станицы? — назвала Граббевскую, была отбита от своих красными, у которых „жила“ двое суток. Не было надобности спрашивать — какую дорогую „цену“ заплатила она за эту двухдневную „жизнь“ у большевиков! Бедняжка просилась к нам на тачанку, чтобы мы ее подвезли к какому нибудь населенному пункту.

Я стал просить своих попутчиков — помочь ей, но к моему глубокому сожалению, мои „красные товарищи“ категорически отказались от оказания помощи и мне ничего не оставалось, как, снабдив ее куском сала и хлебом, подробно указав дорогу, направить ее на Кушевку. Бедная, поруганная дочь Степи, невинная страдальца, солдатским хамством раздавленный нежный полевой цветок, тихо и понуро поплелась по указанной мною дороге. Куда она пойдет, где она найдет защиту, приют, слово утешения? Не встретится ли ей новый хам по дороге, не совершит ли над нею новое дьявольское надругательство? До боли было мне жаль ее; проклиная в душе большевиков, долго я смотрел вслед за ней, пока она не скрылась за горизонтом...

(Окончание следует).

А. Литовкин. (Греция).

## Несостоявшийся поход.

(К истории казачьей эмиграции).

Одно время, мы эмигранты, были очень густо представлены в столице Турции. В этот острый и трагический момент, когда еще можно было думать, что отчаявшиеся люди, ничего не видящие перед собой доброго и определенного за границей, согласятся снова взяться за оружие и пойти на красные рати, против которых однажды уже не устояли, — мне пришлось встретиться в Константинополе с известным екатеринодарским присяжным поверенным С. Е. Н-ки, который строго конфиденциально сообщил мне, что его посетил ген. Покровский и развил ему план наступления на Кавказ со стороны Батума, при чем предложил г-ну Н-ки один из министерских постов при себе.

Я позволил себе высказать глубокое убеждение, что с одной стороны, при наличии у противника неисчерпаемой людской массы и запаса храбрости торжествующего победителя, с другой стороны, — крайне ограниченного количества людей у наступающих при недостатке всевозможных припасов, а также при наличии последнего резерва — храбрости отчаяния — едва ли можно спасти таким путем то, что утрачено при гораздо лучших условиях.

Затем, я заинтересовался — почему ведется разговор на подобную тему со мной. На это последовал ответ, что Покровский не желал бы действовать, не организовав аппарата, который избавил бы „главнокомандующего“ от хозяйственных, административных и проч. забот об „армии“ (род министерства). Поэтому являлась нужда в подборе соответствующего кадра людей... Не считая попытку серьезной, наоборот, — боясь ненужных жертв людьми, из которых многие может быть и до сего времени благополучно здравствуют, я ничего не сказал, в расчете попасть на организационное совещание и там изложить свой взгляд на вещи. Каково же было мое изумление, когда на другой день после беседы, адвокат Н-ки мне решительно передал, что моя кандидатура (которой я вообще не выставлял

в „особое совещание“ при ген. Покровском совершенно не подходит, ибо я ориентируюсь „на другого генерала“.

Не могу не оговориться, что до или после этого сообщения (хорошо не помню), в Константинополе, на Petit Champ, случайно, я встретил этого „другого генерала“ и он еще издала, как бы шутя, сообщил, своим спутникам: „Вот человек ориентации Покровского“... (Если бы жив был так несвоевременно умерший третий генерал — Н. М. Успенский — он с большим основанием мог бы говорить о моей ориентации)...

Однако, к теме: Выслушав сообщение г-на Н-ки, я заявил категорически, что на кого бы я не ставил ставку в прошлом, меня сейчас совесть обязывает сказать, что это — новая авантюра и ставка на кровь без малейшего шанса на успех и что потерянному нами таким способом не спасти, — следовательно, надо искать склонных к ратным авантюрам людей, благо, их тогда не мало было в Константинополе...

Переговоры прекратились...

Что делалось дальше — совершенно не знаю. Во всяком случае, „предприятие“ кончилось неожиданно: ко мне зашел молодой офицер, екатеринодарец Мяч, и со скорбью и обидой сообщил, что ген. Покровский неожиданно уехал, даже не простившись с ним, как своим последним адъютантом...

Так непонятно закончилась эта попытка возобновления гражданской войны в расчете на „гений руководителя“, но — не на реальные возможности, силы и средства. Не убежден, но думаю, что ген. Покровский в данном случае повторил тот же опыт, который он делал накануне насилия над Радой: с военными он особенно не советовался, считая себя почти непогрешимым в делах военной компетенции, и устраивая свою моральную и политическую базу за счет подбора министерства, — что ему в Константинополе удалось еще хуже, чем в Екатеринодарском особняке Х. И. Фотиади...